

A black and white halftone portrait of Boris Slutsky, a man with a mustache, looking slightly upwards and to the right. The portrait is the central focus of the cover.

БОРИС СЛУЦКИЙ

100

СТИХО-
ТВОРЕ-
НИЙ

Борис Абрамович Слуцкий

Андрей Крамаренко

100 стихотворений

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69759274

*100 стихотворений:
ISBN 9785933813866*

Аннотация

В книгу избранного выдающегося русского поэта XX века Бориса Слуцкого (1919–1986) вошли его лирические шедевры, написанные в разные годы. Некоторые стихотворения публикуются в восстановленных авторских редакциях.

Книга выходит к 100-летию со дня рождения поэта.

Составитель Андрей Крамаренко.

Содержание

«Я говорил от имени России...»	5
Важней крови	7
«Стихи...»	7
«Романы из школьной программы...»	8
«Интеллигенция была моим народом...»	10
«Про меня вспоминают и сразу же – про лошадей...»	12
Лошади в океане	13
«Покуда над стихами плачут...»	15
Как мог	17
В начале пути	19
И дяди, и тети	19
Музыка над базаром	21
«Как говорили на Конном базаре...»	23
Музшкола имени Бетховена в Харькове	25
Медные деньги	27
Деревня и город	29
«Шел фильм...»	31
Золото и мы	32
Школа войны	34
Сон	34
«Последнею усталостью устав...»	36
Госпиталь	37

Кёльнская яма	40
Памятник	43
«Расстреливали Ваньку-взводного...»	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Борис Слуцкий

100 стихотворений

«Я говорил от имени России...»

*Я говорил от имени России,
ее уполномочен правотой,
чтоб излагать с достойной прямою
ее приказов формулы простые.
Я был политработником. Три года:
сорок второй и два еще потом.*

*Политработа – трудная работа.
Работали ее таким путем:
стою перед шеренгами неплотными,
рассеянными час назад
 в бою,
перед голодными,
 перед холодными,
голодный и холодный.
 Так!
 Стою.*

*Им хлеб не выдан,
 им патрон недодано,*

*который день поспать им не дают.
И я напоминаю им про Родину.
Молчат. Поют. И в новый бой идут.*

*Все то, что в письмах им писали из дому,
все то, что в песнях с их судьбой сплелось,
все это снова, заново и сызнова
коротким словом – Родина – звалось.
Я этот день,
 воспоминанье это,
как справку,
 собираюсь предъявить
затем,
 чтоб в новой должности – поэта
от имени России говорить.*

Важней крови

«Стихи...»

Стихи,

что с детства я на память знаю,
важней крови,

той, что во мне течет.

Я не скажу, что кровь не в счет:

она своя, не привозная, —

но – обновляется, примерно, раз в семь лет,

и, бают, вся уходит, до кровинки.

А Пушкин – ежедневная новинка.

Но он – один. Другого нет.

«Романы из школьной программы...»

Романы из школьной программы,
на ваших страницах гошу.
Я все лагеря и погромы
за эти романы прощу.

Не курский, не псковский, не тульский,
не лезущий в вашу родню,
ваш пламень – неяркий и тусклый —
я все-таки в сердце храню.

Не молью побитая совесть,
а Пушкина твердая повесть
и Чехова честный рассказ
меня удержали не раз.

А если я струсил и сдался,
а если пошел на обман,
я, значит, некрепко держался
за старый и добрый роман.

Вы родина самым безродным,
вы самым бездомным нора,
и вашим листкам благородным
кричу троекратно «ура!».

С пролога и до эпилога
вы мне и нора и берлога,
и, кроме старинных томов,
иных мне не надо домов.

«Интеллигенция была моим народом...»

Интеллигенция была моим народом,
была моей, какой бы ни была,
а также классом, племенем и родом —
избой! Четыре все ее угла.

Я радостно читал и конспектировал,
я верил больше сложным, чем простым,
я каждый свой поступок корректировал
Львом чувства — Николаичем Толстым.

Работа чтения и труд писания
была святей Священного Писания,
а день, когда я книги не прочел,
как тень от дыма, попусту прошел.

Я чтил усилия токаря и пекаря,
шлифующих металл и минерал,
но уровень свободы измерял
зарплатою библиотекаря.

Те земли для поэта хороши,
где — пусть экономически нелепо —
но книги продаются за гроши,

дешевле табака и хлеба.

А если я в разоре и распыле
не сник, а в подлинную правду вник,
я эту правду вычитал из книг:
и, видно, книги правильные были!

«Про меня вспоминают и сразу же – про лошадей...»

Про меня вспоминают и сразу же – про лошадей,
рыжих, тонущих в океане.

Ничего не осталось – ни строк, ни идей,
только лошади, тонущие в океане.

Я их выдумал летом, в большую жару:
масть, судьбу и безвинное горе.

Но они переплыли и выдумку, и игру
и приплыли в синее море.

Мне поэтому кажется иногда:

я плыву рядом с ними, волну рассекаю,
я плыву с лошадьми, вместе с нами беда,
лошадиная и людская.

И покуда плывут – вместе с ними и я на плаву!

Для забвения нету причины,
но мгновения лишнего не проживу,
когда канут в пучину.

Лошади в океане

И. Эренбургу

Лошади умеют плавать.
Но – нехорошо. Недалеко.

«Глория» по-русски значит «Слава», —
это вам запомнится легко.

Шел корабль, своим названьем гордый,
океан старался превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
тыща лошадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
далеко-далёко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
нету мест на лодках и плотах?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось – плавать просто,
океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил

вдруг заржали кони, возражая
тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
все на дно покуда не пошли.

Вот и все. А все-таки мне жаль их —
рыжих, не увидевших земли.

«Покуда над стихами плачут...»

*Владиславу Броневскому в последний день его
рождения были подарены эти стихи*

Покуда над стихами плачут,
пока в газетах их порочат,
пока их в дальний ящик прячут,
покуда в лагеря их прочат, —

до той поры не оскудело,
не отзвенело наше дело.
Оно, как Польша, не згинело,
хоть выдержало три раздела.

Для тех, кто до сравнений лаком,
я точности не знаю большей,
чем русский стих сравнить с поляком,
поэзию родную – с Польшей.

Еще вчера она бежала,
заламывая руки в страхе,
еще вчера она лежала
почти что на десятой плахе.

И вот она романы крутит
и наглым хохотом хохочет.

А то, что было,
то, что будет, —
про это знать она не хочет.

Как мог

Начну по порядку описывать мир,
подробно, как будто в старинном учебнике,
учебнике или решебнике,
залистанном до окончательных дыр.

Начну не с предмета и метода, как
положено в книгах новейшей эпохи, —
рассыплю сперва по-старинному вздохи
о том, что не мастер я и не мастак,
но что уговоры друзей и родных
подвигли на переложение это.

Пишу, как умею, Кастальский родник
оставив удачнику и поэту.

Но прежде, чем карандаши очиню,
письмо-посвящение я сочиню,
поскольку когда же и где же видели
старинную книгу без покровителя?

Не к здравому смыслу, сухому рассудку,
а к разуму я обращусь и уму.

И всюду к словам пририсую рисунки,
а схемы и чертежи — ни к чему.

И если бумаги мне хватит

и Бог

поможет,

и если позволят года мне,
дострою свой дом

до последнего камня
и скромно закончу словами:
«Как мог».

В начале пути

И дяди, и тети

Дядя, который похож на кота,
с дядей, который похож на попа,
главные занимают места:
дядей толпа.

Дяди в отглаженных сюртуках.
Кольца на сильных руках.
Рядышком с каждым, прекрасна на вид,
тетя сидит.

Тетя в шелку, что гремит на ходу,
вдруг к потолку
воздевает глаза
и говорит, воздевая глаза:
– Больше сюда я не приду!

Музыка века того: граммофон.
Танец эпохи той давней: тустеп.
Ставит хозяин пластиночку. Он
вежливо приглашает гостей.

Я пририсую сейчас в уголке,
как стародавние мастера,
мальчика с мячиком в слабой руке.
Это я сам, объявиться пора.

Видите мальчика рыжего там,
где-то у рамки дубовой почти?
Это я сам. Это я сам!
Это я сам в начале пути.

Это я сам, как понять вы смогли.
Яблоко, данное тетей, жую.
Ветры, что всех персонажей смели,
сдуть не решились пушинку мою.

Все они канули, кто там сидел,
все пировавшие, прямо на дно.
Дяди ушли за последний предел
с томными тетями заодно.

Яблоко выдала в долг мне судьба,
чтоб описал, не забыв ни черта,
дядю, похожего на попа,
с дядей, который похож на кота.

Музыка над базаром

Я вырос на большом базаре,
в Харькове,
где только урны
чистыми стояли,
поскольку люди торопливо харкали
и никогда до урн не доставали.

Я вырос на заплеванном, залузганном,
замызганном,
заклятом ворожкой,
неистовою руганью
заруганном,
забоженном
истовой божбой.

Лоточники, палаточники
пили
и ели,
животов не пощадя.
А тут же рядом деловито били
мальчишку-вора,
в люди выводя.

Здесь в люди выводили только так.
И мальчик под ударами кружился,

и веский катерининский пятак
на каждый глаз убитого ложился.

Но время шло – скорее с каждым днем,
и вот —

превыше каланчи пожарной,
среди позорной погани базарной,
воздвигся столб
и музыка на нем.

Те речи, что гремели со столба,
и песню —

ту, что со столба звучала,
торги замедлив,
слушала толпа
внимательно,
как будто изучала.

И сердце билось весело и сладко.
Что музыке буржуи – нипочем!
И даже физкультурная зарядка
лоточников
хлестала, как бичом.

«Как говорили на Конном базаре...»

Как говорили на Конном базаре?
Что за язык я узнал под возами?

Ведали о нормативных оковах
бойкие речи торговков толковых?

Много ли знало о стилях сугубых
веское слово скупых перекупок?

Что
 спекулянты, милиционеры
мне втолковали, тогда пионеру?

Как изъяснялись фининспектора,
миру поведать приспела пора.

Русский язык (а базар был уверен,
что он московскому говору верен,
от Украины себя отрезал
и принадлежность к хохлам отрицал),
русский базара – был странный язык.
Я – до сих пор от него не отвык.

Все, что там елось, пилося, одевалось,
по-украински всегда называлось.

Все, что касалось культуры, науки,
всякие фигли, и мигли, и штуки —
это всегда называлось по-русски
с «г» фрикативным в виде нагрузки.

Ежели что говорилось от сердца —
хохма жаргонная шла вместо перца.

В ругани вора, ракла, хулигана
вдруг проступало реченье цыгана.

Брызгал и лил из того же источника,
вмиг торжествуя над всем языком,
древний, как слово Данилы Заточника,
мат,
 именуемый здесь матерком.

Все – интервенты, и оккупанты,
и колонисты, и торгаши —
вешали здесь свои ленты и банты
и оставляли ключья души.

Что же серчать? И досадовать – нечего!
Здесь я – учился, и вот я – каков.
Громче и резче цеха кузнечного,
крепче и цепче всех языков
говор базара.

Музшкола имени Бетховена в Харькове

Меня оттуда выгнали за проф
так называемую непригодность.
И все-таки не пожалею строф
и личную не пощажу я
 гордость,
чтоб этот домик маленький воспеть,
где мне еще пришлось терпеть и претерпеть.

Я был бездарен, весел и умен,
и потому я знал, что я – бездарен.
О, сколько бранных прозвищ и имен
я выслушал: ты глуп, неблагодарен,
тебе на ухо наступил медведь.
Поешь? Тебе в чашобе бы реветь!
Ты никогда не будешь понимать
не то что чижик-пыжик – даже гаммы!

Я отчислялся – до прихода мамы, но приходила и вмешивалась мать. Она меня за шиворот хватала и в школу шла, размахивая мной. И объясняла нашему кварталу: – Да, он ленивый, да, он озорной,

но он способный: поглядите руки,
какие пальцы: дециму берет.

Ты будешь пианистом.

Марш вперед! —

И я маршировал вперед.

На муки.

Я не давался музыке. Я знал,
что музыка моя – совсем другая.
А рядом, мне совсем не помогая,
скрипели скрипки и хирел хорал.

Так я мужал в музшколе

той вечерней,

одолевал упорства рубежи,
сопротивляясь музыке учебной
и повинуюсь музыке души.

Медные деньги

Я на медные деньги учился стихам,
на тяжелую, гулкую медь,
и набат этой меди с тех пор не стихал,
до сих пор продолжает греметь.
Мать, бывало, на булку дает мне пятак,
а позднее – и два пятака.
Я терпел до обеда и завтракал *так*,
покупая книжонки с лотка.
Сахар вырос в цене или хлеб дорожал —
дешевизною Пушкин зато возражал.
Полки в булочных часто бывали пусты,
а в читальнях ломились они
от стиха,
от безмерной его красоты.
Я в читальнях просиживал дни.
Весь квартал наш
меня сумасшедшим считал,
потому что стихи на ходу я творил,
а потом на ходу, с выраженьем, читал,
а потом сам себе: «Хорошо!» – говорил.
Да, какую б тогда я ни плел чепуху,
красота, словно в коконе, пряталась в ней.
Я на медную мелочь
учился стиху.
На большие бумажки

учиться трудней.

Деревня и город

Когда в деревне голодали —
и в городе недоедали.

Но все ж супец пустой в столовой
не столь заправлен был бедой,
как щи с крапивой,
 хлеб с половой,
с корой,
 а также с лебедой.

За городской чертой кончались
больница, карточка, талон,
и мир села сидел, отчаясь,
с пустым горшком, с пустым столом,
пустым амбаром и овинном,
со взором, скорбным и пустым,
отцом оставленный и сыном
и духом брошенный святым.

Там смерть была наверняка,
а в городе — а вдруг устроюсь!
Из каждого товарняка
ссыпались слабость, хворость, робость.

И в нашей школе городской

крестьянские сидели дети,
с сосредоточенной тоской
смотревшие на все на свете.
Сидели в тихом забытье,
не бегали по переменкам
и в городском своем житье
все думали о деревенском.

«Шел фильм...»

Шел фильм.

И билетерши плакали

семь раз подряд

над ним одним.

И парни девушек не лапали,

поскольку стыдно было им.

Глазами горькими и грозными

они смотрели на экран,

а дети стать стремились взрослыми,

чтоб их пустили на сеанс.

Как много создано и сделано

под музыки дешевый гром

из смеси черного и белого

с надеждой, правдой и добром!

Свободу восславляли образы,

сюжет кричал, как человек,

и пробуждались чувства добрые

в жестокий век,

в двадцатый век.

Золото и мы

Я родился в железном обществе,
постепенно, нередко – ошупью
вырабатывавшем добро,
но зато отвергавшем смолоду,
отводившем

всякое золото
(за компанию – серебро).

Вспоминается мне все чаще
и повторно важно мне:
то, что пахло в Америке счастьем,
пахло смертью в нашей стране.

Да! Зеленые гимнастерки
выгребали златые пятерки,
доставали из-под земли
и в госбанки их волокли.
Даже зубы встречались редко,
ни серьги, ничего, ни кольца,
ведь серьга означала метку —
знак отсталости и конца.

Мы учили слова отборные
про общественные уборные,
про сортиры, что будут блистать,

потому что все злато мира
на отделку пойдет сортира,
на его красоту и стать.
Доживают любые деньги
не века – деньки и недельки,
а точней – небольшие года,
чтобы сгинуть потом навсегда.

Это мы, это мы придумали,
это в духе наших идей.
Мы первейшие в мире сдунули
золотую пыльцу с людей.

Школа войны

Сон

Утро брезжит, а дождик брызжет.
Я лежу на вокзале в углу.
Я еще молодой и рыжий,
мне легко на твердом полу.

Еще волосы не поседели
и товарищей милых ряды
не стеснились, не поредели
от победы и от беды.

Засыпаю, а это значит:
засыпает меня, как песок,
сон, который вчера был начат,
но остался большой кусок.

Вот я вижу себя в каптерке,
а над ней снаряды снуют.
Гимнастерки. Да, гимнастерки!
Выдают нам. Да, выдают!

Девятнадцатый год рождения —

двадцать два в сорок первом году —
принимаю без возраженья,
как планиду и как звезду.

Выхожу двадцатидвухлетний
и совсем некрасивый собой,
в свой решительный, и последний,
и предсказанный песней бой.
Потому что так пелось с детства.
Потому что некуда деться
и по многим другим «потому».
Я когда-нибудь их пойму.

«Последнею усталостью устав...»

Последнею усталостью устав,
предсмертным равнодушием охвачен,
большие руки вяло распластав,
лежит солдат.

Он мог лежать иначе,
он мог лежать с женой в своей постели,
он мог не рвать намокший кровью мох,
он мог...

Да мог ли? Будто? Неужели?

Нет, он не мог.

Ему военкомат повестки слал.

С ним рядом офицеры шли, шагали.

В тылу стучал машинкой трибунал.

А если б не стучал, он мог?

Едва ли.

Он без повесток, он бы сам пошел.

И не за страх – за совесть и за почесть.

Лежит солдат – в крови лежит, в большой,
а жаловаться ни на что не хочет.

Госпиталь

Еще скребут по сердцу «мессера»,
еще

вот здесь

безумствуют стрелки,
еще в ушах работает «ура»,
русское «ура – рарара – рарара!» —
на двадцать
слогов
строки.

Здесь

ставший клубом
бывший сельский храм —
лежим

под диаграммами труда,
но прелым богом пахнет по углам —
попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы ледащего сюда!

Какие фрески светятся в углу!

Здесь рай поет!

Здесь

ад

ревмя

ревет!

На глиняном истоптанном полу
томится пленный,
раненный в живот.

Под фресками в нетопленном углу
лежит подбитый унтер на полу.

Напротив,
на приземистом топчане,
кончается молоденький комбат.
На гимнастерке ордена горят.
Он. Нарушает. Молчанье.
Кричит!
(Шепотом – как мертвые кричат.)

Он требует, как офицер, как русский,
как человек, чтоб в этот крайний час
зеленый,
рыжий,
ржавый
унтер прусский
не помирал меж нас!

Он гладит, гладит, гладит ордена,
оглаживает,
гладит гимнастерку
и плачет,
плачет,
плачет

горько,
что эта просьба не соблюдена.

А в двух шагах, в нетопленном углу,
лежит подбитый унтер на полу.
И санитар его, покорного,
уносит прочь, в какой-то дальний зал,

чтоб он

своею смертью черной
комбата светлой смерти
не смущал.

И снова ниспадает тишина.

И новобранца

наставляют воины:

— Так вот оно,

какая

здесь

война!

Тебе, видать,

не нравится

она —

попробуй

перевоевать

по-своему!

Кёльнская яма

Нас было семьдесят тысяч пленных
в большом овраге с крутыми краями.

Лежим,
 безмолвно и дерзновенно.

Мрем с голодухи
 в Кёльнской яме.

Над краем оврага утоптана площадь —
до самого края спускается криво.

Раз в день
 на площадь
 выводят лошадь,
живую
 сталкивают с обрыва.

Пока она свергается в яму,
пока ее делим на доли
 неравно,
пока по конине молотим зубами, —
о бюргеры Кельна,
 да будет вам срамно!

О граждане Кёльна, как же так?
Вы, трезвые, честные, где же вы были,
когда, зеленее, чем медный пятак,

мы в Кёльнской яме
с голоду выли?

Собрав свои последние силы,
мы выскребли надпись на стенке отвесной,
короткую надпись над нашей могилой —
письмо
солдату страны Советской.

«Товарищ боец, остановись над нами,
над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
мы пали за родину в Кёльнской яме!»

Когда в подлецы вербовать нас хотели,
когда нам о хлебе кричали с оврага,
когда патефоны о женщинах пели,
партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу...»

Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
партком разрешает самоубийство слабым.

О вы, кто наши души живые
хотели купить за похлебку с кашей,
смотрите, как, мясо с ладони выев,
кончают жизнь товарищи наши!

Землю роем,
скребем ногтями,
стоном стонем
в Кёльнской яме,
но все остается – как было, как было! —
каша с вами, а души с нами.

Памятник

Дивизия лезла на гребень горы
по мерзлому,

 мертвому,

 мокрому

 камню,

но вышло,

 что та высота высока мне.

И пал я тогда. И затих до поры.

Солдаты сыскали мой прах по весне,
сказали, что снова я родине нужен,
что славное дело,

 почетная служба,

большая задача поручена мне.

– Да я уже с пылью подножной смешался!

Да я уж травой придорожной пророс!

– Вставай, подымайся! —

 Я встал и поднялся.

И скульптор размеры на камень нанес.

Гримасу лица, искаженного криком,
расправил, разгладил резцом ножевым.

Я умер простым, а поднялся великим.

И стал я гранитным,

а был я живым.

Расту из хребта,
как вершина хребта.
И выше вершин
над землей вырастаю.
И ниже меня остается крутая,
не взятая мною в бою высота.

Здесь скалы
от имени камня стоят.
Здесь сокол
от имени неба летает.
Но выше поставлен пехотный солдат,
который Советский Союз представляет.

От имени родины здесь я стою
и кутаю тучей ушанку свою!

Отсюда мне ясные дали видны —
просторы
освобожденной страны.
Где графские земли
вручал
батракам я,
где тюрьмы раскрыл,
где голодных кормил,
где в скалах не сыщется
малого камня,

которого б кровью своей не кропил.

Стою над землей

как пример и маяк.

И в этом

посмертная

служба

моя.

«Расстреливали Ваньку-взводного...»

Расстреливали Ваньку-взводного
за то, что рубежа он водного
не удержал, не устерег.
Не выдержал. Не смог. Убег.

Бомбардировщики бомбили
и всех до одного убили.
Убили всех до одного,
его не тронув одного.

Он доказать не смог суду,
что взвода общую беду
он избежал совсем случайно.
Унес в могилу эту тайну.

Удар в сосок, удар в висок,
и вот зарыт Иван в песок,
и даже холмик не насыпан
над ямой, где Иван засыпан.

До речки не дойдя Днепра,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.